

В клубе «Только стихия, только поэзия» 27 марта 2013 года

Собрались в 405-ый раз!!!



Виктор Мирочник рассказал о Песахе, который празднуется с 25 марта до 1 апреля нынешнего года и прочёл стихи о нём.



Песах, или Пасха, — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Сейчас 5773 год, то-есть 3325 года назад.

Праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья — род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но когда евреев стало «слишком много», к ним были приняты особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая повинность, на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали.

Моше (Моисей) и был тем самым мальчиком, которому было

Удивительное стечение обстоятельств спасло его от неминуемой гибели от рук египтян и привело к тому, что воспитывался Моше во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока. Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст («неопалимая купина»). Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Название «Песах» одни исследователи трактуют как «переход», исход из земли Египетской, другие связывают с историей праздника. Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет *десять «казней»*: превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец, гибель первенцев. Бог умертвил первенцев египтян, но пропустил («пасах» на иврите) дома израильтян. Еще «Пе-сах» толкуется как «уста говорящие», и это, конечно, соответствует тому, что главная заповедь Праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.

Григорий Амбург

* * *

Пасха еврейская – сладостный Песах!
Время забыть о заботах и стрессах
И веселиться и в гости ходить,
Ну и , конечно, по кОшеру жить!
Вспомнить: как предки бежали из рабства
От фараонского головотяпства,
Сколько бродить им пришлось по пустыне...
Нас эта притча страшит и поныне.
Выбросив кислое и дрожжевое,
В мыслях вернуться в то время лихое.
Снова увидеть, как манные хлопья
Падают с неба на племя холопье.
Рыбой питаться, что “ФИШем” зовется,
Не подтираться, пардон, чем придется.
Хлеба не пробовать, кушать мацу,-
Это – на Песах еврею к лицу!
Время уборки и выпечек пресных,
Всю процедуру не выразить песней.
Время застолий и криков “Лехаим!”
Время порядка, что недосягаем.
1999 год

Песах

Ольга Агур
На праздник Песах я уже была.
Я тёплый камень трогала, зажмурясь.
Я каплю из бокала отпила –
На дне дрожало ожерелье улиц,
Закрученное в нескольких часах
Гортанной речи, не привычной горлу.
Сверкают новой жизни голоса,
~ ~

И неуютно сердцу моему,
Как будто на часок зашла к соседям
И вот, усталый гость в чужом доме,
Пытаюсь поучаствовать в беседе,
Как будто можно что-нибудь понять
Среди чужих портретов и пелёнок!
Но если это - родина моя,
То я - её детдомовский ребёнок.
Не по её, не по моей вине,
Ни ей, ни мне от этого не легче.
Крошится хлеб, и вкуса нет в вине,
И время только давит, а не лечит.
-Ты где? -- Я здесь. -

Откликнись! -- Не могу:
Я не ищу ни умысла, ни сходства.
Я снова у грядущего в долгу
За равнодушие моего сиротства.
Но праздник Песах подтвердит Исход,
Перечеркнёт сожжённую страницу,
Волной меня на берег отнесёт,
Коль море не захочет расступиться.
А будущее – где? Есть только крик,
Мгновенной боли сигаретный привкус.
Я буду в ночь глотать по десять книг.
Я научусь. Я постепенно свыкнусь.
И обретёт дитя твои черты,
И назову субботу воскресеньем
В звенящем море красной пустоты,
Где впереди не видно Моисея.

Затем Виктор Мирочник рассказал о поэтах, которые родились или умерли 27 марта. И прочитал их стихи.



Веневитинов Дмитрий (26.9.1805 – 27.3.1827)

О Веневитинове

"Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего общества, быть украшением его поэзии и, быть может, создателем его философии" И.Киреевский

"Какие думы в глубине его души таились, зрели?" Алексей

«Чудный поэт». А. С. Пушкин

«Чистый свет угас слишком рано. У него было много прекрасного в душе, нравственного и поэтического». В. А. Жуковский

«Веневитинов сам собою составил бы школу, если б судьба не пресекла безвременно его прекрасной жизни, обещавшей такое богатое развитие. В его стихах просвечивается действительно идеальное, а не мечтательно идеальное направление; в них видно содержание, которое заключало в себе самодеятельную силу развития». В. Г. Белинский

«Проживи Веневитинов хотя десятью годами более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу». Н. Г. Чернышевский

«Что же дал бы нам Веневитинов, проживи он еще пять, десять лет? Уж его никак не ждал «обыкновенный удел» — его лира несомненно должна была поднять в веках гремучий непрерывный звон. Всмотревшись пристальнее в поэтическое его наследие, в оставшиеся нам от него первые юношеские пробы, замечаешь разлитое на них ровное розоватое горение, предшествующее всегда восходу великого светила... Поэзия Веневитинова подобна светлomu источнику, в струях которого душа поэта отражается мерцающей звездой... У него нет ни одной фальшивой ноты: все его стихи прошептаны ему непосредственно самой Музой... Форма у Веневитинова безукоризненна. Плохих стихов у него вовсе нет, и эта черта, как и некоторые другие, сближает его с Пушкиным. Что-то пушкинское замечается в самой фактуре его стиха».

Б. А. Садовской

ЖИЗНЬ

Сначала жизнь пленяет нас:
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалика,-
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам.
Потом - на все глядим лениво,
Потом - и жизнь постыла нам:
Ее загадка и развязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

Конец 1826



Яшин Александр Яковлевич (27.3.1913 – 11.7.1968)

На смертном одре, после третьей операции, уже всё поняв, из последних сил удерживая на скулах всегдашнюю "яшинскую" улыбку, — он повторял: "Не дамся! Не дамся!" — и молил судьбу: еще бы годик... до весны дотянуть... там выкарабкаюсь... ничего не успел, не договорил, не дописал, только понял, что хочется сказать, а тут и край: больница на Каширке... в пятьдесят пять лет... Пятьдесят пять лет. Срок немалый. Особенно если учесть, что перед нами поэт, истерзавший душу в перипетиях и своей судьбы, и судьбы страны в межвоенную передышку. И все-таки — горькое сознание: не успел! Не сказал! Это Яшин-то с его десятками изданий! Никогда не попадавший в запрет! С головокружительным взлетом — из деревенской глуши по прямой вверх — к первым публикациям в пятнадцать лет, к первой книжке в двадцать один год, и с этой же книжкой — к делегатскому мандату на Первый съезд писателей... Со Сталинской премией в двадцать семь. Если искать в поколении "детей Октября" фигуру, в судьбе которой траектория "от нуля" к зениту особенно чиста, так это Яшин.

Лирическое беспокойство

Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.
Днем не сидится,
Ночью не спится...
Надо на что-то
Большое решится!
С кем-то поссориться?
С чем-то расстаться?
На год на полюсе
Обосноваться?
Может, влюбиться?
О, если б влюбиться!
Что-то должно же
~

Если б влюбиться,
Как в школе когда-то,
Как удавалось
В седьмом
И в десятом -
До онеменья,
До ослепленья,
До поглупенья,
До вдохновенья!
Снова стоять
На морозе часами,
Снова писать
Записки стихами.
Может в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Божия искра.
И превратятся
Мои откровения
В самые лучшие
Стихотворения.
1961



Шубин Павел Николаевич [27 марта 1914, село Чернавск Елецкого уезда Орловской губернии - 11 апреля 1951, Москва], русский поэт.

Ты думаешь, что я — простак,
И жизнь поэта — трын-трава...
Наверное, всё это так,
И ты, по-своему, права.
Есть ярость женская в тебе,
А я уже устал, — прости,
Мне нечем хвастаться в судьбе
И защищаться на пути.
Хотелось просто видеть дом,
Тебя и сына, и сказать:
— Всё, что добуду я трудом,
Бери и правь семьёю, мать!
Вот ты и сын,
Расти его,
А мне не надо ничего



Элишева (настоящее имя Елизавета Ивановна Жиркова-Быховская; 20.09.1888, Спасск близ Рязани, – 27.03.1949, близ Твери, Израиль), поэтесса (на русском языке и на иврите), прозаик и критик (на иврите). Дочь русского православного священника и обрусевшей ирландки. Рано лишившись матери, она переехала к тетке в Москву, где окончила гимназию и посещала фребелевские педагогические курсы “Общества учительниц и воспитательниц детских садов” (до 1910 г.). В 1907–1908 гг. началось ее знакомство с евреями, которое стимулировало интерес к идиш, а затем к ивриту. В освоении языков ей помогал брат, Л. Жирков, впоследствии видный советский лингвист, специалист по языкам иранской группы. В годы 1-й мировой войны работала в комитете помощи еврейским беженцам в окрестностях Рязани. По признанию Элишевы, на нее произвели “сильное впечатление еврейская национальная идея, а позднее сионизм”. Этому способствовала также дружба и последующий брак Элишевы с Ш. Быховским (1881?-1932), сионистом, издателем и распространителем книг на иврите. В 1920–21 гг. Элишева работала секретарем у заместителя наркома просвещения, историка М. Н. Покровского. В 1925 г. Элишева с семьей переехала в Эрец-Исраэль и поселилась в Тель-Авиве, выступала с чтением своих стихов в ишuve и за границей: в городах Литвы, Латвии, Польши, а также в Париже и Лондоне. Почитатели видели в ней “Руфь с берегов Волги”, хотя Элишева не перешла в иудаизм. После смерти мужа Элишева жила в нищете, работала прачкой-поденщицей, изредка публиковала литературно-критические очерки. Могила Элишевы находится рядом с могилой поэтессы Рахел на берегу озера Киннерет. Стихи Элишева писала с детства. Первая публикация — перевод с идиш сборника стихов Ш. Я. Имбера “Ин идишн ланд” (“В еврейской стране”, М., 1916). Несколько выполненных ею переводов прозы с идиш и иврита не увидели свет в связи с прекращением изданий, где предполагалась их публикация, и были утрачены. Затем были опубликованы переводы стихов Иехуды ха-Леви в переложении на идиш Х. Н. Бялика (в книге “Урок Варшавский”, М., 1917) и рассказов Г.

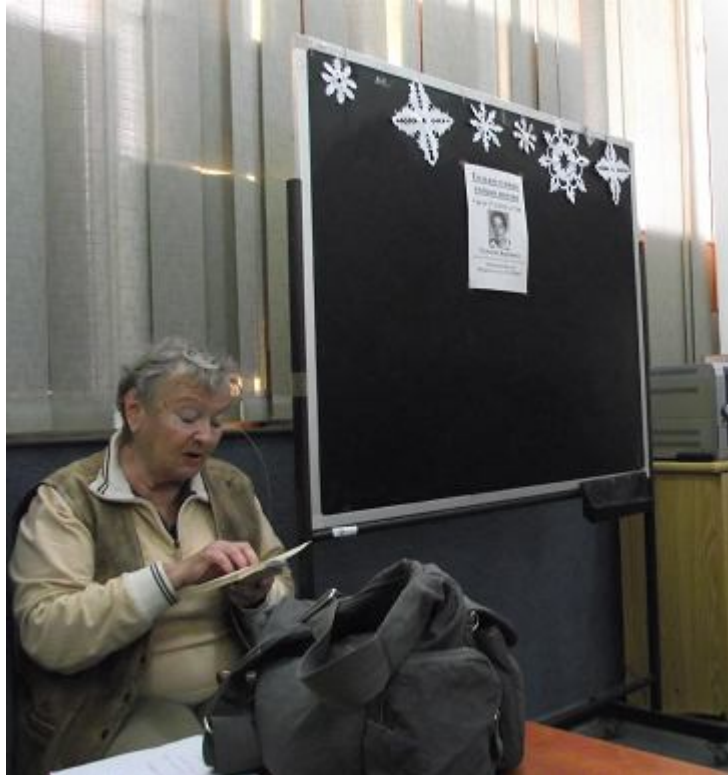
Шофмана (литературные сборники "Сафрут", М., 1918). В 1919 г. в Москве вышли под псевдонимом Э. Лишева два ее поэтических сборника: "Тайные песни" и "Минуты". Были опубликованы несколько рецензий Элишевы на поэзию на иврите, в том числе в журнале "Гехалуц" (1920).

ЛЕХАИМ!

За жизнь! Лехаим! Вновь нальем!
Вина янтарен цвет,
Мы снова вместе, мы вдвоем,
А мне уж сорок лет.
Былого не было у нас,
Дорога далека...
Не потому ли свет из глаз,
Беседа так легка!
Ты можешь тем счастливым быть,
Что тень стирает тень,
Что для того, чтоб все забыть,
Подходит этот день.
Пропетых песен зов вдали,
И легок бег минут.
За жизнь! За годы, что прошли,
За годы, что придут!
Перевод Я. Хромченко



Тушнова Вероника Михайловна (27.03.1915 – 07.07. 1965)



Мприна Шагалова прочла стихи Тушновой:

* * *

Не знаю - права ли,
не знаю - честна ли,
не помню начала,
не вижу конца...
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада, что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на все побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.
И это нисколько меня не печалит,-
прекрасен той первой поры неуют...
Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.

* * *

Одна сижу на пригорке
посреди весенних трясин.
...Я люблю глаза твои горькие,

улыбку твою родную,
губы, высохшие на ветру...
Потому,- куда ни иду я,
и тебя с собою беру.
Все я тебе рассказываю,
обо всем с тобой говорю,
первый ландыш тебе показываю,
шишку розовую дарю.
Для тебя на болотной ржави
ловлю отраженья звезд...
Ты все думаешь - я чужая,
от тебя за десятки верст?
Ты все думаешь - нет мне дела
до озябшей твоей души?
Потемнело, похолодело,
зашуршали в траве ежи...
Вот уже и тропы заросшей
не увидеть в ночи слепой...
Обними меня, мой хороший,
бесприютные мы с тобой.

* * *

Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.
И не возвратится никогда.
Я о нем потосковала в меру,
в меру слез горючих пролила.
Прижилась обида,
присмирела,
люди обступили
и дела...
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.

Письмо

Просто синей краской на бумаге
неразборчивых значков ряды,
а как будто бы глоток из фляги
умирающему без воды.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Почему так медлила безбожно
почта, избавление неся?
Наконец-то отдохну немного.
Очень мы от горя устаем.
Почему ты не хотел так долго
вспомнить о могуществе своем?

И Виктор Мирочник прочёл про неё и стихи:
Ей не пришлось отречься ни от родителей, которых любила,
ни от детства, прошедшего в старорежимной провинции... Но
"вала детство"?

Сказала. Под конец жизни. Чтобы поубедительнее воспеть это детство. Чтобы сама мысль о "предательстве" и "отречении" показалась окончательно абсурдной. На самом деле она никогда ни от чего не отрекалась — в отличие, скажем, от Ольги Берггольц, которая в какой-то момент в полном соответствии с эпохой попыталась оторвать от себя родню "с ихним днем ангела". Контраст тем более выразителен, что они — почти ровесницы — выросли вроде в сходных условиях: и там, и тут — одноэтажные деревянные дома в "посаде" крупного промышленного города, и там, и тут — средний достаток, и отцы у обеих, что называется, военные интеллигенты, прошедшие фронт Империалистической войны. Там Питер — тут Казань... Контраст облика лишь оттеняет прелесть юности: у Ольги — что-то северно-европейское в генах (немцы? шведы? прибалты?), у Вероники — красота жгуче-южная, азиатская (скорее персидского, чем татарского типа). При наступлении социализма они зеркально меняются пропиской: дочь доктора Берггольца устремляется из Ленинграда в Среднюю Азию, а дочь доктора Тушнова переезжает из Казани в Ленинград. И опять — контраст выбора: первая с головой окунается в горячку социалистического строительства, каковым и не пахнет в старорежимной слободе, вторая с головой уходит в академическую медицинскую науку, куда указывает ей путь отец, профессор, ставший к этому времени академиком. Это вовсе не значит, что "профессорская дочка" не хлебнула лиха в детские годы. Под конец жизни, в предсмертной "Поэме памяти" она и это дорасскажет: *"Всё началось преддверьем созиданья. Разруха, голод, холод, темнота... Об этом первое воспоминанье, о корке хлеба — первая мечта. На улице куда теплей, чем дома... Чадят в буржуйке мокрые дрова, разрежут хлеб, а на ноже — солома, в пустой похлебке плавают ботва. Год двадцать первый. На Поволжье голод. Тиф. Все вокруг обриту наголо. Притихший, скудно освещённый город до самых крыш снегами замело..."* Дорасскажет и о матери: *"В восемнадцатом, мама, ты так же вот пела, укрывая в подвале меня от обстрела, и смотрела тревожно большими глазами на зловещее зарево над Казанью. Монотонные звуки томительно плыли, интервентов орудья по городу били..."* И, переключаясь с Ольгой, об отце своем скажет признательно: *"Мы жили на папиной скромной зарплате, что нашего счастья отнюдь не губило. Я помню все мамини новые платья и я понимаю, как мало их было. Я помню в рассохшемся старом буфете набор разношерстных тарелок и чашек, мне дороги вещи почтенные эти и жизнь, не терпящая барских замашек. Горжусь я, что нас не пугали заботы, что жить не старались покою в угоду, что видный профессор шагал на работу за три километра в любую погоду..."* Поразительная, между прочим, способность передавать жизненную фактуру в простом, казалось бы, стихе. Тут уже опыт мастера: всё это написано в середине 60-х годов. А тогда, когда всё это происходило в реальности — что просилось в стихи? Бабочки, листочки. Любимый кот, весёлые лошадки на манеже заезжего цирка. Грёзы, слёзы, луна, страдания... Дело ведь не только в том, какая погода за окном (метеорологическая, политическая), но и в том, какая погода в комнате. Особенно если речь о поэте: ученица одной из лучших школ Казани ("с углубленным изучением нескольких иностранных языков") исписывает

ИТО ВСЁ ЭТО

выдержано в стиле гимназического декаданса. По мере того, как школьница, ставшая студенткой, осознает допотопность такого стиля, она исписанные кипы тетрадей уничтожает и к моменту первой публикации (уже в Москве, в двадцать восемь лет) подходит без всякого архива вырезок — с чистым листом бумаги. Это не значит, что она не хочет стать поэтом. Очень хочет, с самых ранних лет. И художницей хочет (потому что одарена как живописец). Но под влиянием отца держится медицинской стези. Академик Михаил Павлович Тушнов умирает в 1935 году. Вероника Михайловна, аспирантка кафедры гистологии ВИЭМ и без пяти минут кандидат наук, идет к Вере Инбер советоваться, что ей делать со стихами. Та говорит: поступать в Литературный институт. Но это дело не быстрое: тут и замужество, и рождение дочери (стихи о рождении дочери становятся первопубликацией). Наконец, она поступает в Литинститут. Весной 1941 года... ..А осенью с маленькой дочерью и больной матерью на руках — эвакуируется в свой родной город, в Казань, и начинает работать палатным врачом госпиталя. "За военные годы в Казани напечатано только одно стихотворение". Но именно в эти годы рождается — поэт. Рельефно, экономно, предельно достоверно выписанная фактура. Измученные люди. Носилки, костыли, бинты, кровь, бред. *"Раздача чая и разборка почты, и наступающий врасплох рассвет, и теплота на сердце оттого, что тот, новый, сыт, укрыт и обогрет"*. Тот обогрет, а другой, единственный, кому отдано сердце, мерзнет за тысячи километров, и непонятно, что реально: то, что там, или то, что тут. Телефонный разговор с Москвой. Удостоверилась: *"Ты живешь, пришел рассвет, умолкнули зенитки. Одолевая утреннюю дрожь, ты режешь хлеб и греешь чай на плитке. А я иду по утренней росе, за крышами — серебряная Волга, грузовики грохочут по шоссе, кричит буксир настойчиво и долго, и это — жизнь..."* Жизнь то ли там, то ли тут. Потерян счет времени, неощутимо пространство, двоятся контуры. Поначалу это воспринимаешь как незначительную особенность (или рассчитанную черту) поэтического почерка: дрожание усталой руки, набрасывающей картину, — но постепенно понимаешь, что этот загадочный мелодический контекст именно и создает ощущение таинственной значимости совершающегося. В стихотворении "Хирург" (первом, которое в военное время появляется у Тушновой в печати) раненый, вдыхая эфир, вглядывается в лицо хирурга и вспоминает, что именно так смотрел на него отец в раннем детстве, а хирург вглядывается в лицо этого молоденького солдата, потому что ему недавно сообщили о гибели сына. Сигнал из-за роковой черты... Дежурная сестра сидит ночью у постели умирающего, он мечется, ловит ее руки, просит мертвеющими губами: "Не уходи... Любишь ли меня?" Она отвечает: "Да" и думает, что вот так же отвечала своему жениху, провожая его на фронт. Это осталось бы простой зарисовкой, но финал разворачивает стихи к ощущению двоящегося контура правды: *"Обоим я сказала да" и никому не солгала"*. В другом стихотворении такой же сдвоенный контур ставит нас перед призраком неразрешимости: *"Ты мне чужой — не друг и не любимый, на краткий час мы жизнью сведены"*. То ли сведены, то ли разведены, то ли жизнью, то ли смертью. *"Но как бы сердце правдою ни сжалось, а ласки не*

осталось, \ ты ждешь любви — она с другим в бою..." Двоится в собственных глазах сама героиня. Другая — такая же, как я. Такая же, но не я. Зову любимым, но не люблю. Несчастлива, но счастлива. Как это?! А вот так: *"минуты приближенья к счастью много лучше счастья самого"*. Значит, этот ужас потери, это расставанье навек, эта смерть, вытеснившая жизнь, — все-таки счастье? *"И все-таки так ты на счастье похожа, что мне кажется — может быть, это оно"*. Вспоминает довоенное: ловит бабочку, схватила, держит в руке... а бабочка уже мертва. Так и счастье: есть — нету. Любимый был, ушел — и нет. Правда двоится, тускнеет, исчезает... и только если ее назвать, оживает в слове. Магия слова, эйфория стиха, одержимость поэзией — наркоз поколения, настроенного эпохой на счастье и угодившего в смертельную засаду. По тому, как началась в годы войны литературная судьба Вероники Тушновой, — она примыкает к поколению мальчиков-фронтовиков. Но она старше годами и, несмотря на малость литературного опыта, богаче их — опытом предвоенной жизни (и замуж успела выйти, и, кажется, мужа потеряла, и дочь вырастила: *"Я напишу ей буквы на листе, я нарисую зайчика в тетради. Я засмеюсь — ее улыбки ради. Я буду плакать после, в темноте..."*). Ее поколение, готовившееся ко всемирному триумфу, а попавшее на минное поле истории, должно было объяснить себе и миру, что произошло с ним и с миром. Оно и попыталось объяснить: Кедрин — с его историческими параллелями, Твардовский — с путешествиями Тёркина на том и этом свете, Симонов — с командирской хроникой войны... Что может добавить к этой начинающейся летописи медсестричка из тылового госпиталя, вспоминающая, как отец рассказывал ей *"о лесах и топях Августова"* и как она его слушала — *"девочка на камне в лучах и пене с головы до ног"*? А секрет в том, что заложена в девочке чисто женская особенность души, когда она поверх всех объяснений чувствует правду-неправду и с сомнамбулической отрешенностью повторяет свое:

"Нет, и это на правду совсем не похоже —

Облетает пыльца, и уходят друзья.

Жить без бабочки можно,

без золота — тоже,

без любимого — тоже, — без песни — нельзя".

Кончается война, жизнь возвращается к обычной бестолковости. Гаснет песня. *"Куда ты ушла? Где мы расстались с тобой?.. Песня моя, а вдруг навсегда меня покинула ты?"*

Влилась песня в общий оркестр победоносной советской лирики, тоненьким подголоском тонет в гигантском ансамбле. Твое маленькое счастье-несчастье — часть общей беды-победы. Твоя тропка вбегает в общий путь:

"И долгий путь сквозь мокрое ненастье

осенней ночью — хриплой и бездомной —

мне кажется ничтожно малой частью

одной дороги — общей и огромной".

Нельзя сказать, что громада страны вообще отсутствует в ранней лирике Тушновой. То есть, что она избегает советских символов. Нет, но она не делает из этого особой темы, никак не акцентирует на этом внимания, замечает изредка и как-то вскользь, как что-то само собой разумеющееся. *"Легкий флаг полощется над пристанью резною". "Кричат "ура", и я с*

на трибуне. Рядом.

Не совсем такая, как все, но, в общем, своя. В общем — послевоенные советские лирики принимает в строй свою "сестричку", еще не отмывшую руки от йода. В 1947 году она принимает участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, о котором его участники (вчерашние солдаты, половина — на костылях, все — с орденскими колодками) будут вспоминать всю жизнь. Марк Соболев, в частности, расскажет, как он остолбенел, обнаружив, что "литконсультант "Комсомольской правды" Вероника Тушнова" (подписывавшая так свои ответы на стихи, присылаемые в редакцию) "ошеломляюще красива". И сборник стихов ее, озаглавленный скромно, но обнадеживающе: "Первая книга", — принесет ей признание мастеров (Павел Антокольский поможет составить и отредактирует). Меж тем в потаенную (не для печати) тетрадку она записывает, как некий редактор (не Антокольский, конечно) утешающе говорит ей: "Понимаете, пока еще не нашли вы что-то главное. Здесь у вас волнует многое, но пошли вы, к сожалению, не широкою дорогою, не в центральном направлении", на что она отвечает (не вслух, конечно, а про себя): путь к сердцу ведет не людным шляхом, а окольно: подъемами трудными, трясинами топкими, по скалам, гладким до ужаса... *"Я иду суровой местностью, не имеющей названия"*. Ну уж и не имеющей... Да это название знают все законодатели и исполнители критического цеха! Камерность" — вот что навешивается за хождение по тропинкам, этот приговор в послевоенные годы звучит так угрожающе, что Андрей Турков даже и сорок лет спустя считает необходимым начать свой очерк о Тушновой с реабилитации термина, с очищения его от "догматической прямолинейности" — ведь занимает же камерность свое законное место "в сфере музыки". Но Тушнова творит свою музыку в сфере литературы, а литература безоговорочно нацелена на эпос. И вот, чтобы как-то оправдаться за свою "камерность", однажды, поднатужившись, она выполняет социальный заказ в официально первенствующем жанре — в поэме. Поэма "Дорога на Клухор" появляется в 1952 году, на последнем взлете цветущего сталинизма, и остается на пути Тушновой как громоотвод на случай критических гроз. В основе-то там — искреннее сострадание детям из кавказской здравницы, которых отступавшие гитлеровцы, как рассказали Тушновой, сбросили в ущелье. В поэме через ущелье прокладывается маршрут, маркированный предвоенным студенчеством (рюкзаки, привалы, костры). И увенчивается это путешествие фигурой германского шпиона, который, прикинувшись ученым-ботаником, пристраивается к группе и идет через Клухорский перевал, тайно фотографируя наши тропки. Шпиона пограничники распознают и отправляют, куда следует, а поэма заканчивается призывом к бдительности, что для 1952 года звучит вполне благонадежно. Вид на жительство получен, в наступившую вскоре эпоху Первой Оттепели Веронике Тушновой открыты все пути: начинаются маршруты по градам и весям страны и соцлагеря, благо социалистический реализм распахивает перед переводчиками с братских языков любые ворота, так что можно забыть и трясину топкие, и скалы, гладкие до ужаса... "Пути-дороги". Буровые Каспия. Шиповник красный вдоль дороги от Страшен до Быковца. Ах, Молдавия, .. -йела, что означает:

улица Морская. "Мы праздник встречаем в дороге". Станция Баладжары. Разъезд Чемыше. Остров Артема. Арыки Ханлара. Ночной Вильнюс. Наргнен, всплывающий розовой стеной. Внуково, самолет до Энска. "Милый! Какая луна над Москвою!" "Кажется мне, что над Соротью где-то". Звезды над морем. Ночь в горах. Куйбышевская ГЭС... Стоп. Вслушаемся.

*"...что были дни побед и поражений,
аварии и подвиги,
и грусть*

*с лица земли исчезнувших селений,
и все, что перечислить не берусь,
все, все, что было до ее рожденья..."*

То есть до рождения Гидростанции. Но дальше:

*"...Так живописцев лучшие холсты
непосвященных вводят в заблужденье
чертами гениальной простоты".*

Уловили? Гениальная простота рукотворной плотины вводит в заблуждение непосвященных, скрывая от них правду... которая то ли есть, то ли нет. Это же чистая Тушнова! Сквозь все соцреалистические плотины прозревающая свои первоначальные темы. "Поэтам он особо нужен — \ высокий уровень воды..." То есть высшая точка, мертвая точка, верхняя мертвая точка, с мгновенного замирания на которой начинается падение вниз, которое в свою очередь сменяется взрывом и взлетом:

*"Здесь не простое совпадение —
глубокий смысл и правда в нём:
лишь в миг отвесного паденья
вода становится огнём".*

Огнём — в падении... Зреет однако на "Путях-дорогах" соцреализма новое прозрение, по-прежнему перемешивающее счастье и несчастье, тайну и самообман, любовь и падение. Уже без всякого страха камерности. Может, зоркость пифии, прозревающей тропку там, где другие идут широким шляхом, не подозревая обмана, — и ставит Веронику Тушнову на совершенно особое место в ее поколении. Среди государственно-мыслящих, общественно-мыслящих, гражданственно-мыслящих властителей дум бродит черноокая вещунья и тихо повторяет, что счастье равно несчастью, что надо быть готовыми ко всему и что любой выпавший жребий придется принять как благо. Кажется, что "леса и топи", через которые прошел когда-то отец, навсегда обозначили ту чащу, из лиловой глубины которой являются фигуры. Любимый цвет — лиловый. Союзники — собаки, кошки, лошади, птицы, лесное зверье... а вот человека надо еще выманить из этой блаженной путанины, из лабиринта улиц и домов, из хаоса связей и развязок. Она его приманивает, ворожит, словно заговаривает: вот если перестать ждать, то и появится.

"Не отрекаются, любя.

Ведь жизнь кончается не завтра.

Я перестану ждать тебя,

а ты придешь совсем внезапно.

А ты придешь, когда темно,

когда в стекло ударит вьюга,

когда припомнишь, как давно

не согревали мы друг друга.

..

*не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам.
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно всё отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери".*

Нет, это не Сольвейг, терпеливо ждущая на берегу, не Пенелопа, коротающая время со швейной иглой в руке, не Ярославна, причитающая на городской стене, и не Андромаха, проводившая мужа на битву (хотя этот последний вариант был бы ближе всего к тому, что пережила она в 1941 году). В 1941-м — утешительница и целительница. В 1961-м — страстная, неукротимая, почти неменяемая, иногда нарочито косноязычная жрица любви, не признающая законов и не знающая преград. Никакого счастья она не ждет, скорее ждет несчастья, и оно от счастья неотлично. В этом смысле двоящиеся контуры видений напоминают горькие плоды ее лирики военных лет. Так и теперь, как тогда: *"Ушла я вдогонку за счастьем, за дальней, неверной судьбой. А счастье то было ненастьем, тревогой, прибоем, тобой..."* От беды не отличить. *"Мое счастье горя любого тяжче"*. А то, что мы "называем" счастьем, на самом деле иллюзия? Обман! *"Обман? Ну, что ж, так все живут на свете, и что предосудительного в том?"* Есть ли грань между правдой и неправдой? Есть, вот она: *"Как часто от себя мы правду прячем, мол, так и так, не знаю, что творю... И вот ты притворяешься незрячим, чтобы в ответе быть поводырем"*. Хочет она быть таким поводырем? Или все-таки утешительницей? *"Ты лгать просил, — как помнишь, и во лжи ни разу я тебе не отказала"*. Это вроде бы и легко, ибо правда и ложь неразличимы, но неразличимы они до того мгновенья, пока вдруг на горе себе и другим не прозреешь правду. *"Мне говорят: нету такой любви. Мне говорят: как все, так и ты живи! Больно много хочешь, нету людей таких. Зря ты только морочишь и себя и других"*. Отвечает: а если есть? И ждет: всё-таки появится. При этом знает, что не только "все" живут в обмане, но и сама. То есть не всегда знает, где "она", а где "я". А он? *"Иду и думаю о нем, и это значит — о тебе"*. А та, которая стоит между "тобой" и "мной"? *"Лежат между нами не веки вечные, не дальние дали — года быстротечные, стоит между нами не море большое — горькое горе, сердце чужое..."* Чужое горе — такое же, как твое. О, если бы в треугольнике кто-то был "лучше", кто-то "хуже". Все равнодостоинны. Неразрешимо. *"Неразрешимого не разрешить, неисцелимого не исцелить"*. Величие поэта — в неразрешимости его тайны. Это не обязательно формулировать (как в только что приведенной цитате). Это сжигает душу, втянутую в какую-нибудь тривиальную ситуацию. В тот же любовный треугольник. *"Но ты /гом. Чужие*

властные ладони лежат на сердце дорогим". Фатально! Хотя и трогает сердце обида: "мне жаль, что ни разу я на свадьбе не пиновала"... У того, кого она зовет, похоже, богатый опыт пинования на свадьбе. В навороженной фигуре начинают проступать обыкновенные человеческие черты. Как и свойственно Тушновой, ситуации прорисовываются лаконично и точно. "Помню первую осень, когда ты ко мне постучал, обнимал мои плечи, гладил волосы мне и молчал". Молчал, потому что не хотел лгать, обнадеживая. Хотя и молча невольно лгал: она-то ждала большего. Но тоже молча. "Не свойственна любви красноречивость, боюсь я слов красивых — как огня. Я от тебя молчанью научилась, и ты к терпенью приучил меня". Терпеть — что? Да понятно же: "пересуды за спиной". И молчанье любимого. "То колкий, то мягкий не в меру, то слишком веселый подчас, ты прячешь меня неумело от пристальных горестных глаз..." От чьих глаз? От глаз той, в чью жизнь ты вошла как "горькое горе"? Но ведь и жить "невидимкой" — все равно, что не жить. Что же такое в неразрешимой ситуации ее герой? "А у меня есть любимый, любимый, с повадкой орлиной, с душой голубиной, с усмешкою дерзкой, с улыбкою детской". Поначалу кажется, что в его облике она воображает, соединяет и реализует всё то, чего не хватало ей в окружающем мире. Мужество, ум, верность... Потом понимаешь: нет, напротив, в нем соединяется все то, чем этот окружающий мир является. И уверенная самооценка, которая на виду (орлиная повадка), и тайная слабость (голубиная душа), которую чувствует ведунья. И ненадежность — от непредсказуемой смены того и другого.

"Мне глаза твои чудятся, то молящие, жалкие, то веселые, жаркие, счастливые, изумленные, рыжеватозеленые". Мир переменчив, неустойчив. Податлив на обманное тепло. "Разжигаю костры и топлю отсыревшие печи, и люблю, как ты расправляешь поникшие плечи, и слежу, как в глазах твоих льдистая корочка тает, как душа твоя пасмурная рассветает и расцветает". Бездомные, они бегут в лес, прячутся в какой-то избушке, уходят в заросли, душа ведуньи, дикарки, весталки оживает в продрогшем теле. "Над скалистой серой кручей плавал сокол величаво, в чаще ржавой и колючей что-то сонно верещало. Под румяною рябиной ты не звал меня любимой, целовал, в глаза не глядя, прядей спутанных не глядя". Вот он все-таки — путь к чужому сердцу: трудные подъемы, топкие трясины, голые скалы. Но ведь это и есть счастье? А если вдруг контраст душ выявится, и мы узнаем наконец, кто прав, кто неправ... "Ты не любишь считать облака в синеве. Ты не любишь ходить босиком по траве. Ты не любишь в полях паутинок волокно, ты не любишь, чтоб в комнате настезь окно, чтобы настезь глаза, чтобы настезь душа, чтоб бродить не спеша и грешить не спеша". А любимый как раз спешит понравиться: и босиком по траве ходит, и паутинкой в поле любуется, и распахивает окно в своем доме, и угощает, угощает: рябиной, ночной ухой... А потом все-таки отрекается. Любя. И от счастливого этого мученья выпархивают на бумагу шедевры поэзии.

*"Помнишь, как залетела в окно синица,
какого наделала переполоху?
Не сердись на свою залетную птицу,*

что это плохо.

*Только напрасно меня ты гонишь,
словами недобрыми ранишь часто:
я недолго буду с тобой,—
всего лишь
до своего последнего часа.*

*Потом ты плотнее притворишь двери,
рамы заклеишь бумагой белой...
Когда-нибудь вспомнишь, себе не веря:
неужели летала,
мешала,
пела?"*

Смерть неотделима от любви. Жизнь "зашла за половину", поздно в ней "вычеркивать строчки": времени уже нет. Иногда предчувствие конца вызывает отчаянный протест, и рвется из души крик: "Я буду, буду, буду, буду!" Но всё чаще звучит примиренное: "Я прощаюсь с тобой у последней черты. С настоящей любовью, может, встретишься ты". Или — вот это предсказание, страшное в своей точности: "Не любил ты свою находку — полюбишь потерю..." Так и будет. Только как дожить до столь страшного суда?.. "Как подсудимая стою... А ты о прошлом плачешь, а ты за чистоту свою мою жизнь платишь". Развязка близится. "Я тебя покину очень скоро... Мне остались считанные весны..." "Когда-нибудь в марте... в мае..." "Не суди, что сердцем я робка. Так уж получилось, опоздала... Дай мне руку! Где твоя рука?" И, наконец, последнее. Самое последнее:

*"Я стою у открытой двери,
я прощаюсь, я ухожу.
Ни во что уже не поверю, —
всё равно
напиши,
прошу!
Чтоб не мучиться поздней жалостью,
от которой спасенья нет,
напиши мне письмо, пожалуйста,
вперед на тысячу лет. \ Не на будущее,
так за прошлое,
за упокой души,
напиши обо мне хорошее.
Я уже умерла. Напиши!"*

Умерла Вероника Михайловна в первых числах июля 1965 года. Она успела подержать в руках свою последнюю книгу: "Сто часов счастья" — дневник мучительной любви. Привезли сигнальный экземпляр. Извинились, что произошло непредвиденное: пять тысяч книжек — четверть тиража! — из типографии оказались раскрадены. Читателям нашлось, чем утешиться: отныне книги Вероники Тушновой выходили одна за другой. Озаглавливали их ее строчками, среди которых самой признанной оказалась вот эта: "Не отрекаются, любя..."



Леонид Манпель прочёл свой рассказ «Несостоявшееся восстановление»